

52

051

Руд. БЕРШАДСКИЙ

Р2 9595

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 15

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

МОСКВА — 1942

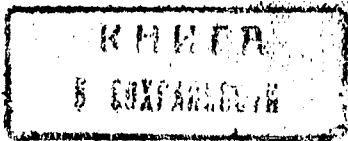


РУД. БЕРШАДСКИЙ

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

99595

Издательство „Правда“
Москва — 1942



Отв. редактор Е. ПЕТРОВ

Издательство „Правда“	Изд. № 95
A50881	Зак. тип. 236
	Тир. 150.000
Статфор. А 105 × 148 мм 1 ¹ / ₂ , п. л.	Кол. зн. в 1 п. л. 43.200
Цена 20 коп.	Подп. к печ. 17/IV 1942 г.

Типография „Красное знамя“, Москва. Сушешская, 21

ДВЕНАДЦАТЬ

В свою последнюю операцию Василий Зрекин отправился во главе группы, насчитывавшей двенадцать человек. Группа получила задание взорвать мост на основной коммуникационной магистрали в тылу противника. Но Зрекин решил взорвать мост обязательно в ту пору, когда на нем будет находиться колонна с грузом, — одним взрывом, так сказать, двух зайцев убить. Группа целиком поддержала командира

Живьем, без единого выстрела пятеро бойцов сняли с поста часового. Едва его уволокли в лес, другая часть группы, пока что старательно прятаясь от пленного, моментально заминировала мост, нагнала ушедших вперед и, попрежнему не показываясь на глаза финну, инсценировала нападение. Во время завязавшейся «перестрелки» финн сбежал и поспешил доложить начальству, что русские приходили за «языком», он же спасся просто чудом!

Немедленно вслед группе Зрекина была снаряжена погоня.

Зрекину не удалось уйти; но взрыв моста, послушно взлетевшего на воздух, когда на него въехала очередная колонна грузовиков с боеприпасами, Зрекин все-таки услышал. И как ликующе его сообщение об этом! (Забыл сказать: группа отправлялась на операцию, будучи снабжена носимой приемо-передаточной радиостанцией).

В неравной борьбе группа Зрекина погибла, но задание выполнила. Вот перед нами замечательный документ — тетрадь депеш, которые отправлял и получал Зрекин. Мы могли восстановить все детали подвига двенадцати героев.

«Товарищ начальник, — сообщает Зрекин, — слышите хорошо? Вот и прекрасно! Нахожусь в отдельно стоящем доме, южнее развилки двух троп.

Все в порядке, товарищ начальник! Мы уж куда отошли от моста, а я тут весь ~~сн~~ с деревьев попадаю!

Финны, кажется, хотят задержать нас. Выслал разведку. Привет, товарищ лейтенант!»

Ответ лейтенанта Баранова:

«Поздравляю всех, благодарю от лица службы. Однако форсируйте отход, как можете. Жду сообщений. Непрерывно на рации. Баранов».

Следующая радиограмма Зрекина:

«Отход откладываю до ночи. Выяснил: окружены. Занял оборону. Потерь нет. Все в порядке. Зрекин. (За поздравление и благодарность — спасибо. Служим Советскому Союзу!)»

Третья радиogramма Зрекина, через сорок минут:

«Противник открыл интенсивный огонь из автоматов с расстояния метров в полтора-два. Отвечаем только по видимым целям, но лес мешает наблюдению. Потерь нет. Подкрепились консервами и галетами».

Радиogramма № 4, еще через час:

«Противник предпринял попытку штурмовать нас. Отбит. Выбыли из строя Чуканов и Якушев.

О дальнейшем донесу. Зрекин».

Вслед за этим Зрекин на долгое время умолкает. Обеспокоенный Баранов запрашивает:

«Почему молчите? Зрекин, почему молчите? Приказываю командиру группы ответить немедленно!»

(Баранов, видимо, усомнился, жив ли Зрекин и попрежнему ли он командует группой.)

Но Зрекин спокоен:

«Ведем наблюдение, финны активности не проявляют. Вот и молчим. Товарищ начальник, не беспокойтесь, все в порядке».

На следующий запрос Баранов получил ответ с запозданием. Вот этот ответ:

«Товарищ начальник, финны предпринимали второй штурм, и поэтому мы не ответили сразу. Сначала они забросали нас гранатами. Наши потери — пять человек. Убиты... (следуют три фами-

ли). Двое раненых остались в строю. Оборону держим попрежнему — все в порядке. Жду ночи».

Как Зрекин ждал ночи!.. Но финнов было в несколько раз больше. Они спешили расправиться с группой Зрекина.

Уже в сумерки они повели третью атаку. О результатах ее Зрекин докладывает крайне кратко: чувствуется — времени на переговоры в обрез.

«В строю остались трое, товарищ начальник: Евтушенко, Паньков и я. Решили оставаться до конца. Иначе придется бросать раненых. Финны швыряют гранаты без перерыва! Если выкрою время, — свяжусь еще. Будьте живы!»

Затем в тетради только радиogramмы Баранова. Зрекин молчит. Лишь около полуночи он неожиданно появляется в эфире опять:

«Тороплюсь, ответ слушать некогда. Остался один. Использую оружие всех. Финны воруют поджечь дом...»

Воинский язык строг и официален. Но когда до Баранова донеслись эти слова, — лейтенант сбился с тона, присущего воинскому языку.

«Товарищ Зрекин, — кричит он в эфир, — Василий! Ты слышишь меня? Послушай хоть десять секунд: командир части высылает тебе на вырубку роту. Ты слышишь, Зрекин? Василий, друг...»

Эта радиogramма — предпоследняя. А последняя, на которой обрывается тетрадь, такая:

«Товарищ Баранов, сообщений больше не ждите, ломаю рацию, уже горят стены. Сейчас выпрыгиваю наружу, осталось еще штук тридцать гранат. Светло, как днем. Да здравствует родина! Напишите домой: все в порядке, жив.

Прощайте, товарищи...»

* * *

Наутро отдельно стоящий дом, что южнее развилки двух троп, был отбит у финнов. Под обгоревшими стропилами его обнаружили одиннадцать обуглившихся трупов. Двенадцатый лежал чуть поодаль от дома, а веером от него, почти правильным полукругом валялись в снегу, почерневшем от пепла, трупы финнов. Они были поражены преимущественно осколками гранат.

От гранаты же погиб и тот, чьи останки удалось разыскать последними. Это был командир группы Василий Зрекин. Но было видно, что он взорвал себя сам.

Слава о подвиге двенадцати героев будет жить вечно.

ПОБЕДА

В избе было чадно. Ветер с воем вихрил снег и загонял дым обратно в трубу. Тогда над раскаленными еловыми поленьями летали легкие синеватые язычки, постепенно поленья тускнели и пламя стелилось низко, потемневшее, густобордвое, а по краям даже черное.

Полковник заворочался на печи и потер слезившиеся глаза.

— Проснулся? — спросил полковника комиссар с одной шпалой в защитных петлицах. — Это хорошо, а то будить тебя было жаль. Знаешь, минут десять назад начальник штаба приходил. Собрал своих всех и отправился к Демьянову. Там финны насели.

Связист, сидевший на лавке у полевого телефона, неожиданно встал и жестом приостановил разговор — раздался сигнал аппарата. Давно небритый связист загудел в трубку простуженным, низким голосом:

— Я, Венера. Алло, Юпитер! Юпитер, ты же

совсем рядом с Венерой, почему тебя плохо слышно? Кого позвать? Кого?

Прикрывая мембрану ладонью, обратился к полковнику:

— Товарищ полковник, какого-то фонарщика требуют.

Полковник прыгнул с печи, на ходу застегнул воротничок.

— Догадываться надо! Если полк — фонарь, то фонарщик я, наверно...

Приложил трубку к уху.

— Лусков? 08 у телефона. Что? Ваша лампа взяла «языка»? — Глаза полковника вспыхнули. — Комиссар, слышишь: лусковская рота в стычке «языка» добыла!.. Нет, я не вам, я продолжаю слушать! «Язык» раненый? Тяжело? Все равно, доставьте немедленно. Что, что? Ну, кто там, почему разъединяете, я говорю с лусковской лампой!.. Да, я спрашиваю: результат вылазки?

Полковник дунул в мембрану:

— Слышите снова?

Наступила пауза. Старший полнтрuck не сводил с полковника глаз; связист, переключав к двери, придерживал ее за шеколду, чтоб кто-нибудь, войдя, не помешал разговору. Ветер стих, огонь в трубе гудел яростно, хрипло. От жерла печи пышало жаром; в свете, шедшем от печи, ясно было видно, как блестит седая щетина на щеках полковника, и можно было различить, что эмаль на

двух орденах Красного знамени местами треснула.

— Двадцать три градуса по Цельсию? Допустим; хотя вы преувеличиваете... — Он говорил, не повышая голоса, отдельно, коротко. — Ну? Ответи лампу на старое место? — Лоб полковника пересекла глубокая морщина; он закричал. — А у них, по-вашему, не двадцать три? У вас есть мой приказ — атаковать высоту! Назовите это «разведка боем». Это будет даже точнее. Но дело не в словах, а в том, что будьте любезны поднять людей и пробейтесь, куда я приказал.

Полковник грохнул трубку на подставку аппарата и остановился перед жерлом печи. Комиссар ждал хотя бы единого слова, но полковник не говорил ничего и только тяжело дышал.

Снова засвистел зуммер.

Отдышавшись, полковник заговорил спокойно:

— Нет, связь не прерывалась; мне просто не о чем с вами было больше разговаривать. Каковы будут дополнительные приказания? Поживее доставляйте «языка» — вот и все. Я уточню через него, какие силы против нас. Но безразлично: расчет и после этого только на себя, от меня получить некого. Ясно? Что еще? «Язык» может замерзнуть по дороге? Так снабдите его своей шинелью. Пойдете вперед — в момент согреетесь!

Дал отбой и обернулся к комиссару:

— Как будто не понимает, что нужно прорвать кольцо финнов. Все требует, требует...

Старший политрук спросил:

— Лусков, что, подкрепления просит?

— Конечно! Он ведь уверен, что именно ему тяжелее всех!

Комиссар помолчал. Полковник шумно отхлебнул глоток чая из белой фаянсовой баночки, заменявшей стакан, но обжегся и отставил баночку в сторону. Расстегнул душивший воротничок.

— Как это просто: дай резервы. Дай, дай! Откуда? Лусков говорит, у него люди устали. А в других ротах бойцы по двое суток не спали. Значит, лечь спать? Или пойти греться?

— Ты горячишься, Павел Григорьевич. Я с тобой не согласен. Мы не имеем права так рассуждать. Ты считал противника, который против Лускова? Сколько его на той высоте? — Он окончил совсем тихо: — Похоже, что у противника в два раза больше сил, чем у Лускова.

Полковник вскочил из-за стола, за которым сидел, и, гневный, перегнулся к комиссару:

— С каких пор, товарищ старший политрук, я не имею права рассуждать? Наоборот, я рассуждаю! Считал ли я противника? Нет, не считал, а сосчитать его надо, и как раз такое задание, если помнишь, мы с тобой Лускову и ставили. Не добыл он «языка» раньше? Будет теперь считать противника в бою! Потому что: может полк терпеть, чтобы нам эта высота продолжала карты путать?

Полковник словно хотел вырвать ответ из комиссара, но возразить тому было нечего, и полковник устало закончил:

— А Лусков этого не понимает. Он мыслит только с ротной колокольни...

Сырые дрова из новой охалки разгорались медленно, и то одно, то другое полено вдруг, неожиданно звонко потрескивало.

Комиссар снял с гвоздя свой полушубок.

— Куда ты?

— К Лускову.

Полковник, видимо, был против такого решения, но пискнул зуммер, заставив его промолчать.

— Кого? — гудел в трубку связист. — Сейчас... Товарищ полковник, вас. Из демьяновского батальона.

Полковник торопливо взял трубку:

— Я слушаю, товарищ Демьянов... Да... Да, я знаю ваше положение... Но продержитесь еще немного, хотя бы немного. Понятно? Обязательно.

Дал отбой. Потом подошел к комиссару. Сказал негромко, задумчиво:

— Ты слышал, что́ говорит Демьянов? Нельзя нам передоверить сейчас командный пункт. Никому. И ни на минуту!

Вмешался связист:

— Товарищ полковник, с четвертой батареей общаются, что только что мимо них провезли «языка».

Полковник кивком головы поблагодарил связиста.

— Садись, комиссар, чай пить. Надо «языка» дожидаться.

Комиссар с ожесточением принялся пить кипяток с сахаром. Он допивал третью кружку, когда пришло второе сообщение: все в порядке, пленного везут дальше. Сию минуту миновали штаб батальона. Состояние его неважное, вроде как в полубабытны, но несколько часов проживет: кряжистый.

— А больше ему и не надо, — усмехнулся связист, заканчивая прием телефонограммы.

Полковник бросил:

— Разговорчики при себе оставить!

Связист вскочил в стойке «смирно».

— Ладно, садитесь... Как ты думаешь, комиссар: дотянет?

За стеной уныло, по-волчьи выл ветер. Иногда казалось, что за воем слышно конское ржание, и это заставляло настораживаться: уж не «языка» ли везут? Хотя он не мог прибыть так скоро...

Давно пришла вызванная из штаба переводчица. Полковник, измерив горницу шагами из угла в угол, остановился перед связистом:

— Ну-ка, узнайте, где он сейчас.

Но в это время запищал зуммер.

— Да, Венера слушает. Побыстрее говори, провод нужен. Что?.. — Связист отпустил клапан. —

Товарищ полковник, из госпиталя. Говорят, задержать пришлось: перевязку делали.

Карандаш, который был в руках у полковника, хрустнул, переломленный надвое.

Никто не решился прервать паузу.

— Передайте по оставшимся пунктам, чтобы «языка» не смели задерживать ни для чего и нигде!

Молчание, установившееся в избе, нарушали только веселое потрескивание жарко разгоревшихся поленьев да голос связиста, смущавшегося, что он говорит один, все же остальные заняты лишь тем, что прислушиваются к нему.

Вскоре снова позвонил Лусков. Доложил, что несмотря на все усилия положение перед высотой пока без изменений. Комиссар, говоривший с ним, обнадежил, что минут через 15—20 — с прибытием «языка» — силы противника будут выяснены.

Вслед за этим в избе наступила полная тишина. Полковник с пришедшим к нему начальником боепитания подсчитывали запасы патронов у каждой роты, но делали это молча. Патронов было маловато.

Воспользовавшись минутой, связист свернул здоровенную цыгарку и закурил, сосредоточенно выпуская дым в печь. Из печи волнами плыло в горницу тепло.

Однако связист не успел докурить: раздался сигнал аппарата.

— Да, слушаю... Что? — Он вдруг швырнул окурок в печь. — «Язык» умер?!

— Умер?! — крикнул полковник. — Да как он... — Но комиссар глазами па переводчицу — и полковник не кончил ругательства. — Сдыхают — и то не вовремя!

Отрывисто приказал:

— Соедините с Лусковым.

Не прошло и полминуты, как центральная нашла Лускова.

— Лусков? Ну, слушайте, я сделал все, что мог: только что, наконец, допросил «языка», и он подтверждает то, что я давно думал и вам говорил: на высоте фунт дыма — один взвод!

Комиссар встал с места, но полковник даже не посмотрел в его сторону.

— Так вот, желаю удачи. На моих часах 23.44. Двигайтесь немедленно, и чтобы ни одного гада в живых не оставить!

На стене тикали большие старинные часы. Минутная стрелка на них поднималась как-то рывками, но все казалось, что она стоит на месте. Когда, наконец, она подошла к самой вершине циферблата и часы зашипели перед тем, как вызвонить двенадцать, пискнул зуммер полевого телефона.

Связист услышал чей-то незнакомый, молодой и усталый голос:

— Товарищ 08? Нет? Все равно, передайте ему.

Связист начал повторять слово за словом:

— У провода связной Лускова. Я говорю уже с высоты. Что — высота? Да, она взята. Беловых у нас...

— Убитых, — шопотом сказал комиссар. — Ну, сколько убитых?

— Беловых у нас 9, раненых — 23. Сведения предварительные. Лусков подойти не может: его перевязывают. Трупов противника пока обнаружено...

Но тут связист кончил передавать то, что ему говорили с высоты, и озабоченно закричал:

— Алло, алло!

Полковник взял трубку из его рук. Но и ему ничего не отвечали. В телефоне слышался какой-то глухой, монотонный шум. Только когда полковник уже потерял всякую надежду услышать что-нибудь еще, в трубке опять раздался голос:

— Алло, не разъединяйтесь, нам мешают: противник перешел в контратаку... Обождите!..

Полковник сжал трубку с такой силой, что, казалось, еще мгновение — и вены на его руке лопнут. Однако несколько минут спустя тот же голос сказал ему:

— Венера? Заканчиваю сообщение. Контратака отбита. У нас новых потерь нет, но вот о трупах противника сведения-то теперь придется уточнять, так что позвоним еще раз. Впрочем, обождите: товарищ Лусков говорит, что хочет сам доложить вам.

ИНТЕРВЬЮ

29595.
Большую часть жилплощади в блиндаже нашей редакции занимали нары. Над самым лучшим местом их было написано: «Номера для приезжающих». Сейчас там лежал Сергей Чернин, и мы упрекали его в безделье. Он смотрел на нас молча, задумчиво, а затем убежденно произнес:

— Цивики! Двадцать строк на первую полосу и подвал на третью — больше вам ничего не нужно от человека! А вы можете понять, что я... переживаю? — и повернулся на другой бок: — Какая девушка... Какая девушка!

— Конфетка? — спросил кто-то.

«Конфеткой» на языке редакции назывались новости, сенсация. Сергей знал, что удивить нас чем-нибудь мудрено: сколько подвигов уже было описано каждым из нас!

В ответ на его отповедь мы решили наказать его равнодушием. В самом деле: «конфетка» или нет — еще неизвестно, а он уже «переживает»! И мы демонстративно перестали замечать его, не то, чтобы думать о его материале. Но какой газетчик стер-

пит такое отношение к «своим» новостям? Сергей вскочил с нар и бросил нам вызов:

— Вам, значит, не интересно, с чем я вернулся? Не интересно? Хорошо! Но все равно вы врете.

Это было правильно. Сергей уверенно продолжал:

— Вы убеждены, что я — приготовишка, новорожденный, что я ничего путного достать не могу? Мальчишки! Садитесь в кружок, рвите на себе волосы и слушайте. Вы ничего не прозевали в энской дивизии? Конечно! Что вам Бабкина! Что вам, что она представлена к ордену! Ну, застрелила двух трусов, вытащила на себе раненого летчика, который упал между нашими передовыми и немецкими...

Чорт возьми, мы, кажется, впрямь прозевали стоящий материал.

— А девушка какая!..

Кто-то тоном уже побежденного спросил Сергея:

— Ты долго с нею беседовал?

— Нет, я еще не видел ее, мне рассказал о ней комиссар дивизии. Кстати, забыл добавить: она ко всему прочему вывезла на себе с поля боя подбитую противотанковую пушку.

Сергей говорил об этом так, будто хвастался, рассказывая о собственной победе.

Мы усумнились:

— Одна?

Но видя, что поле боя за ним, Сергей не считал нужным обращать внимание на придирки.

— Нет, вместе с тобою...

Если бы вы могли увидеть, как мы отплатили ему за этот дерзкий ответ! Все, кто был в блиндаже, — все мы в ту же минуту заржали. Как по команде! Мы раскачивались из стороны в сторону, ухватившись за животики, мы буквально катались по нарам от смеха, правда, не забывая при этом все время быть на глазах у Сергея, чтобы испуганно заметавшийся свет единственной свечи не помешал ему видеть, до какого гомерического веселья он довел каждого из нас.

Сергей хотел возразить. Куда там... Мы засмеялись еще громче.

— Сергей, зачем ты одеваешься? Ты спешишь к ней? Сережа, не влюбись! Если она станет твоей женой, она будет по утрам упражняться тобою вместо гири!

Он бросил нам: «Тупицы! Першероны!»

Последнее слово было подхвачено тут же:

— Вот спасибо, подсказал! А то бы мы ни за что не вспомнили, как называются эти тяжеловозы...

Мы бы окончательно затюкали его — без злобы, без яда. Просто, очень хочется смеяться на фронте. Так вот, мы бы окончательно затюкали его, но в эту минуту в блиндаж вошел редактор. Он был человек вечно занятый, и смех при нем звучал просто-таки оскорблением. Он строго посмотрел на всех, и хотя улыбки быстро улетучивались с наших лиц, они все же не могли исчезнуть сразу.

— Что, никто не работает? — спросил редактор. Мы с трудом взяли себя в руки.

— Да, товарищ батальонный комиссар, отвлеклись немного. Тут Чернин рассказывает об одной замечательной сандружиннице. — Кто-то не выдержал и прыснул за спиной редактора. — Надо бы поехать к ней, мы думаем.

— Что ж, пускай и съездит. А чем она отличилась, товарищ Чернин?

Сергей вытянулся как на смотру и не ответил — отрапортовал:

— Одна вытащила на себе из боя подбитую пушку.

Редактор не понял, что тон Сергея — вызов, направленный в нашу сторону, а не в его, и считал нужным прекратить разговор, который велся в то-не, показавшемся ему неподобающим.

— Одна? На себе? Геройский поступок. Но, по моему, вы все-таки не о ней говорили. Тут смеялись над чем-то?

Мы кое-как убедили его, что это ему показалось.

— Хорошо, продолжайте работать.

* * *

Мы с нетерпением ожидали сережиной поездки. И вот, когда он вернулся, мы услышали самое замечательное. Надо сказать прямо, что отправлялся Сергей в дивизию уже без всякого подъема. Вдруг, действительно, мы окажемся правыми, и он столкнется с пожилым гренадером..

И как хотелось ему, чтобы она, вот возьми, да и оказалась бы такой, какой он с самого начала себе ее представил! Хотя бы нам назло такой оказалась!

Впрочем, могло быть и другое. Он ведь вообще был романтиком, наш долговязый Сережа Чернин. Услышав от комиссара дивизии о такой необыкновенной товарищ Бабкиной, он, вероятно, в тот же момент создал себе ее образ, и это был образ его мечты.

Наконец Сергей вернулся, и мы не пожалели, что были неправы. Товарищ Бабкина — эта в нашем представлении силачка, громадина, Иван Поддубный (простите, Ася, какую только мы вас не изображали заочно!) — оказалась худенькой ясноглазой девушкой, и лишь одним отличалась от портрета, нарисованного нам Сергеем заранее: мягкие льняные волосы ее не были заплетены в косы, а коротко-коротко острижены: Ася только что перенесла крупозное воспаление легких. Сергей был старше ее на четыре года и выше на две головы. Но несмотря на это, несмотря на то, что был прирожденным газетчиком и взял на своем веку не один десяток интервью, он все-таки смутился — впервые в жизни — когда остался с глазу на глаз с этой девушкой.

Чтобы скрыть это смущение, он повел с нею разговор в сугубо строгих тонах:

— Товарищ Бабкина, это правда, что вы вытащили на себе противотанковую пушку?

Пришла асина очередь смущаться. Она покраснела:

— Нет, я не смогла с нею справиться. Я прицепила ее к санитарной двуколке.

Сергей облегченно вздохнул, но не показал виду:

— Тогда расскажите, как вы пристрелили двух трусов.

Ася удивленно посмотрела на своего неожиданного следователя:

— Я никого не расстреливала.

— То есть как — никого? Но вы заставляли кого-то идти в атаку?

— Да... Я сказала одному, который лежал в окопе, чтобы он встал: пора уже. Но только я в него не стреляла...

— А что же?

— Ну, я сказала ему. Он встал. Встал и стоит. Я тогда, кажется, подтолкнула его. Знаете, я очень рассердилась.

Сергей с воодушевлением рассказывал нам обо всей этой беседе с Асей Бабкиной:

— Я ей задаю вопрос: «Ася, а как вы летчика вытаскивали?» А она отвечает: «Я сказала одному бойцу: «Пойдемте вместе: он, наверное, тяжелый». Ну, пошли». «Это что же, спрашиваю, ночью было? Немцы не видали вас, что не обстреливали?» «Нет, они стреляли. Но только я маленькая, в меня попасть трудно». «И кто же тащил летчика, вы или боец?» «Я. Мне казалось, ему так больше нравится». «А самолет подожгли?»

Или разоружили?» «Разоружила, конечно». Однако! У вас достало сил тащить на себе и летчика и спаренную установку?» (Мне, ребята, и в голову не пришло, что она не знает про то, что пулеметы на самолетах спаривают!) А она говорит: «Так там же ничего тяжелого не было: только один пистолет летчика в кабине валялся». Я рассмеялся, спрашиваю: «Ася, сколько вам лет?» Она вдруг разобиделась — говорит сердито-сердито: «Уже восемнадцать. Что из того?» — Вы понимаете, ребята, какая девушка...

Мы улыбались и молчали. Никому бы и в голову не пришло больше трунить над Сергеем.

* * *

Нашу газету теперь так захлестывают материалы Сергея Чернина о медсанбате дивизии, что мы всерьез начинаем подумывать: а не изменить ли Сергею профессию, не сделаться ли врачом? Страсть к медицине стала просто сильнее человека!

ПРОФИЛАКТИКА

Мины встретили наших бойцов в первый же день финской войны. Мин было очень много. Видимо, цель противника как раз и заключалась не только в том, чтобы задержать нас, — он хотел подействовать и на нашу психику. Казалось, куда ни сунься, всюду тебя подстерегает присыпанная снегом, скользкая и зеленая, как жаба, круглая металлическая коробка со смертоносной медной пуговкой посредине.

С минами боролись по-разному. Старший военфельдшер Чачило не мог представить себе, чтобы он остался в стороне от дела, которым живет вся армия. Но, с другой стороны, как бороться с минами медику? Вот был бы он сапер или хотя бы химик!

Оставалось как будто одно: дожидаться, пока доставят раненых при взрывах.

Когда Чачило дошел до этого пункта своих рассуждений, он жестоко обругал себя:

— Лентяй! Что является основой советской медицины? Профилактика! Значит, и предупреждай заболевания!

Предупреждать Чачило стал так. Он покинул свое подразделение (которое двигалось во втором эшелоне, в соприкосновение с неприятелем не вступало и потому некоторое время спокойно могло обойтись без помощи фельдшера) и направился к саперам: они расчищали путь войскам, идя голодными.

К концу первого дня он уже научился распознавать, какими преимущественно отметками пользовались финны, маскируя мины снегом и ветвями, научился распознавать, где в первую очередь следует ждать особенно большого скопления вражеских «гостинцев», — в общем «освоил» кое-как этот вид оружия.

Вернулся он в свое подразделение только вечером. В качестве трофея притащил собственноручно обезвреженную противотанковую мину и провел популярную лекцию на тему «Как бороться с минами». Лекция сопровождалась демонстрацией «наглядных пособий», одно наличие которых достаточно свидетельствовало и о компетентности и об инициативе лектора. Его слушали с захватывающим интересом. А Чачило развивал любимое положение:

— Понимаете, товарищи бойцы, профилактика — великое дело. Куда лучше объяснить вам сейчас, как обращаться с минами, чем потом объяснить, как обращаться с индивидуальным пакетом для перевязок! Да и мне тогда меньше работы достанется. Верно? Почти что шкурные соображения!

По рядам прошел веселый шопот:

— Лекарь-то!.. Не из робких...

И фельдшер изо дня в день продолжал двигаться впереди роты — в разведке, — а когда его спрашивали, зачем он так рискует собой, отвечал:

— А кто же собой на войне не рискует? Она поэтому и война! Но впереди я могу принести больше пользы: могу вовремя помочь раненому; если обнаружу (опять-таки вовремя), — уничтожу отравленные продукты; ну, насчет мин похлопочу.

Из-за круглых очков на круглом лице поблескивали веселые, добродушные глаза. Машина, на которой по штату находился фельдшер, шла сзади, но все знали: фельдшера надо искать не там.

В одном местечке ему удалось задержать шпиона. Шпион прикинулся миролюбивым стариком, ничего не знающим и не понимающим. Чачило, поймав его на несколько путаных ответах, решил, что оставлять старика на насиженном месте небезопасно... Но так как сам был занят перевязками, то конвоирование старика поручил легко раненым, которые и доставили задержанного в особый отдел. Так сказать, по пути. Допрос подтвердил, что старик много раз помогал своему сыну переходить советскую границу, снабжал его одеждой, пищей, принимал от него донесения...

— Все профилактикой занимаетесь, товарищ фельдшер? — шутили в роте.

— А как же! Вы знаете, сколько такой микроб может вреда натворить? Хуже всякой болезни!..

Каска, которую в одном из боев приобрел Чачило, помята нещадно.

— Отчаянно голова болела, когда по ней садануло, — говорит Чачило и задумчиво прибавляет: — Кто бы подумал, что металлическую каску могут так поранить комья самой обыкновенной земли...

С этой каской Чачило не расстается, как с боевым трофеем. Вот вмятина — отметка последнего боя. Подразделение Чачило непосредственно в бою не участвовало, поэтому фельдшер рыскал по полю боя и здесь же, на месте, оказывал первую помощь. Но он не ограничивался этим. Каждого перевязанного еще выносил из-под обстрела и сдавал в надежные руки санитаров с посылками.

— Сколько я таких рейсов проделал? Точно не помню, но порядочно. Аж руки начали гудеть, — продолжает он свой рассказ. — Однако хуже всего было, когда самого контузило. Решил: «Ну, фельдшер, отвоевался! Теперь без санитаров уже не двинуться!» Но вдруг услышал в нескольких метрах разрыв белофинского снаряда, и сразу же после этого — стон оттуда. Где ж тут медику на месте улежать?! Собрал силы, пополз. Профессия...

Чачило смущенно улыбается.

Мы беседуем с ним близ передовых. В это время мимо нас проносят тяжело раненого стонущего танкиста. Чачило срывается с места, на бегу расстегивает свою санитарную сумку:

— Зачем вы его дальше тащите? Видите, я здесь!

Так и не удается нам закончить беседу. За одним раненым последовал второй, третий, и, убедившись, что мне не дожидаться конца рабочего дня фронтового медика, я ушел на передний край.

Что поделаешь, трудно корреспонденту на передовых позициях предугадать, когда закончится его беседа с кем-нибудь...

* * *

Пересматривая сейчас свой финский фронтовой блокнот, я перечитал «Профилактику», и так живо встали передо мной Чачило и обстановка, в которой была написана эта вещь.. Как будто это было вчера. А ведь это было — день в день! — уже два года назад, восемнадцатого декабря 1939 года, на Карельском перешейке, северозападнее дер. Бо-бошино.

Комиссар танковой бригады познакомил меня с Чачило; мы пристроились на пнях в лесу, близ шоссе.

Метрах в четырехстах впереди находился передний край обороны финнов, и мины, летевшие оттуда через наши головы, часто заставляли нас отрываться от беседы и валиться в снег. Словно это от чего-нибудь спасло бы..

Помню, с первого момента знакомства мое любопытство возбудила бородачка Чачило: настолько она была ненатуральна, казалась пририсованной к этому молодому, молочно-розовому лицу. Так

школьники, озорничая, награждают хрупких девушек; на картинках в книжках усами, бабушек в передниках—винтовками за плечами. Но было бы невежливо ни с того, ни с сего спросить Чачило:

— Слушайте, а почему у вас борода?

И, однако, я не удержался от этого вопроса. Правда, я задал его корректно, невзначай: «Вы, между прочим, постоянно бороду носите или только теперь завели? Должно быть, трудно с бритьем?»

Чачило несколько замялся, а потом, стараясь, чтобы объяснение его прозвучало как можно более серьезно, сказал:

— Бородку я тут запустил. Понимаете ли, когда к раненому подходит врач с бородой, больному становится легче уже от одного этого: солидность, авторитет... Верно?

Он с живым интересом ждал, согласен ли я с ним. Но я рассмеялся. Кругленький, румяный, совсем молодой студентик, отращавающий себе бородку ради степенности... Конечно, меня следует выругать, но в ту минуту я не мог удержаться от смеха!

Чачило обиделся и кончил неожиданно:

— Наконец, ношу ее просто потому, что хочу. И все!

Но мы не рассорились. Мы хорошо пожали друг другу руки, и оба рассмеялись на прощание, когда вспомнили эту мимолетную нашу размолвку.

Между прочим, в конце нашей беседы Чачило по-

просил меня—если не трудно,—когда вернусь в Ленинград, позвонить его жене и передать привет (он тут же набросал ей несколько строк на листке из моего блокнота).

— Но вы, конечно, не рассказывайте ей, что я большей частью на передовых. Вы скажите, что я где-нибудь в тылу, в дивизионном госпитале каком-нибудь...

Я обещал выполнить все в точности и немедленно по приезде в Ленинград позвонил по указанному телефону. Буквально минут через двадцать откуда-то с Петроградской стороны приехала целая делегация: жена Чачило, сестра его, еще кто-то. Чачило, видно, крепко любили в семье.

Они жадно прочли привет, написанный его рукой, а потом засыпали меня вопросами: где он, и не холодно ли ему, и не опасно ли?

Они непременно хотели выжать из меня как раз то, о чем не желал писать им он сам!

Я поспешил уверить их, что ему совсем не холодно, что он почти не выходит из усадьбы, где расположен их госпиталь («Знаете, только погулять в парке... Там замечательный помещичий парк...» Когда я так вдохновенно врал, перед моими глазами стоял искаженный взрывами лес, в котором мы с Чачило беседовали, негнувшиеся, красные его пальцы—как трудно ему было вывести даже те коротенькие десять строк приветов, что он передал через меня! О да, конечно же, он

только тем и был занят, что разгуливал в парках!)...

— Ну, а как он выглядит? Похудел?

Они не сообразили, что раньше-то я его никогда не видел.

— Как вам сказать... Выглядит он неплохо, бо-родку отпустил.

Жена его счастливо засмеялась от неожиданности, и на глазах ее блеснула слезинка:

— Что он придумывает, этот сумасброд! Узнаю Толю!

И так же счастливо, как она, заулыбались и сестра Чачило и та родственница, с которой они пришли.

Когда мы расставались, я по секрету сообщил им, что Чачило представлен к ордену Красного знамени (мне сказал об этом комиссар бригады).

Они испугались:

— Значит, он все-таки на самых передовых?

Но я поспешил разубедить их:

— Что вы!.. Просто на фронте неудобно представлять к ордену Трудового красного знамени.. Вот и все..

Кажется, они мне поверили. Во всяком случае, в ту минуту они больше всего были горды сознанием, что их Толя оказался героем.

...Вскоре меня перебросили с Карельского перешейка на другой участок фронта, и снова в Ленинград я попал лишь после окончания финской войны. Как раз попался на глаза номер газеты с Ука-

зом Президиума Верховного Совета: «Чачило А. Р. наградить орденом Красного знамени...»

Чертовски захотелось позвонить ему, поздравить с наградой, узнать, как провел он остальное время войны.

Я уже накрутил по вертушке нужный номер, но вдруг мелькнула мысль: а что, если он награжден посмертно? И подойдет жена... спросит: «Толю?..»

Каково ей будет отвечать!..

Я в тот же момент положил трубку обратно на рычаг.

Но уже потом, в Москве, случайно просматривая хронику, кто получил ордена, я нашел фамилию и Чачило. Значит, жив! Попалась на глаза также фотография группы награжденных, снимавшихся с Михаилом Ивановичем Калининным. Обнаружил на ней и Чачило. Правда, мне трудно было узнать его — без бороды (допекла-таки Чачило жена!). Мне стало бесконечно досадно, что я так и не позвонил ему, когда возвращался с войны домой через Ленинград.

* * *

Я снова в Ленинграде. Великий город сейчас в кольце блокады. Я пишу эти строки в дни новой — великой отечественной войны. Военная судьба сталкивает на неоглядных фронтовых дорогах с друзьями, пропавшими из виду бог знает сколько

лет назад.. (Вот так, между прочим, довелось мне козырнуть на шоссе какому-то громадине-капитану:

— Будьте добры, где дорога туда-то?

А он, обернувшись, вдруг широко раскинул руки, и я оказался чуть ли не раздавленным в радостных мамонтовых объятиях.

— Фу, чорт! Брайловский, ты?

— Точно!

И я начал так же взволнованно хлопать по спине и рукам давнишнего своего приятеля, которого знал еще с двумя кубарями на петлицах, совсем юнцом. А теперь он командир героической эскадрильи, на груди его орден за финскую войну, и он уже представлен ко второму...

— Да сколько же лет мы с тобою не видались?

Начали подсчитывать — семь. Как раз столько, сколько нашим дочкам уже минуло...)

Так, может быть, и с Чачило столкнет меня снова военная судьба: не сидит же он дома! И я увижу его круглые очки, круглое лицо, круглую рыжеватую бородку...

Я знаю: мы еще встретимся. Мы обязательно встретимся!

ПОБРАТИМЫ

Двадцать три года назад, а может быть двадцать лет назад (короче: в гражданскую войну), части нередко формировались по принципу землячества; например: 1-й саратовский красногвардейский полк или, допустим, Мировой революции 3-й конотопский отряд.

Отряд, в который вступил Василий Голубев, состоял и вовсе из ребят с одной фабрики: Зайцев Ваня, Сазонов Проша... Все свои, ивановские, один хлеб из отрубей жевали, одну думку думали.

И затарахтели колеса, и пошел отряд сражаться против врагов революции.

Бились двадцать три друга и против Махно на Украине, и против Деникина в Воронеже, и против Маркевича в Астрахани. Одно только тяжело было: придет, скажем, Сергею из родного Иванова письмо, а Сергея уже нет в живых. Кого в Лисках похоронили, кого еще где оставили. Вынес однажды Сазонов Голубева из боя — перекинул раненого через седло да так километров тридцать и гнал.

Оправился Голубев, снова стал в строй, снова принялся биться плечом к плечу рядом с Сазоновым. Тут бы и отплатить другу за спасение. Да не успел: убили Прошу Сазонова... И пришлось другою товарищеской заботой отвечать: доставать доски, сколачивать гроб... Хороший гроб сколотил, просторный. Потом отвез вместе с Жуковым Сашей на кладбище. Сняли над гробом двое: «Вы жертвою пали...» Смотрели друг на друга, пели и плакали. В Лисках это было.

А когда хотели в землю закапывать, оказалось, лопаты нет, могилу даже выкопать нечем. Но искали и нашли: стоит свежевырытая яма, дожидается кого-то. Положили туда Прошу Сазонова, доской побросали в могилу земли...

Вскоре привезли к этой могиле другого покойника. Объяснили родным того: «Так и так, реквизировали мы вашу могилу для бойца революции Прохора Сазонова, потому что ждать нам некогда, надо в наступление идти. А вы другую выроете. Уж простите».

Вот еще с каких пор стал Голубев Василий бойцом Красной Армии! И какая разница, что сменил он после военную гимнастерку на штатский пиджачок, что последних двух оставшихся из тех, которых раньше двадцать три было, совсем потерял из виду? Разве не встретится он с ними снова, когда родина призовет в строй? И расцелуются друзья и спросят на ходу: «Где ж это ты пропал, браток?» Но только чаевничать некогда. И пойдут

в бой, чтобы после боя, может, поговорить по складнее.

...Много лет прошло. Стал Голубев из Васи сперва Василием, а потом и Василием Захаровичем. Успел кончить рабфак, институт, аспирантуру. В студенческой комнате выросли новые книжные полки, сын начал догонять отца. Уже и сын пошел в Красную Армию. Но комната доцента осталась старой еще со времени рабфака. Осталась старая неприхотливость, осталось старое неумение позаботиться лично о себе.. Осталась молодость прежнюю!

Когда всякие заграничные провокаторы войны направляли жерла финских орудий на родной каждому пролетарию город Ленина, Василий Захарович Голубев отложил в сторону диссертацию на звание кандидата литературных наук и коротенько написал в военкомат:

«Не знаю высшего долга, чем сражаться за Родину».

...Я встретился с политруком пулеметной роты Голубевым на передовых позициях. За двумя рядами каменных надолб, в заснеженном зимнем лесу скрывались бетонированные форты белофиннов. Форты надо было превратить в могилы врага, но пока что они падали по нас и мы еще не сумели подойти к ним вплотную.

Завтра предстоял бой. Мы знали, что он будет нелегок. Позавчера мы уже ходили на эти скрытые укрепления и все-таки не взяли их.

В шалашах из еловых веток были разложены дымные костры; пахло хвоей и декабрьским снегом. Бойцы сушили у огня пожелтевшие от пота портянки и поворачивали к пламени то грудь, то спину. В головах лежали винтовки.

Я услышал откуда-то из-под ветвей чуть простуженный негромкий голос:

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны...

Кто это? Я заглянул в шалаш. Боец держал в руках нескрученную цыгарку и замороженным взором смотрел в переливающиеся струи костра. Какой-то человек, с мягкими очертаниями рта, в просторной красноармейской шинели, наизусть читал Пушкина.

В шалаше было тесно. В него набился народ из других шалашей. Чтец все плотнее подбирал под себя ноги, а потом совсем стал на колени, чтобы досталось место еще одному бойцу. Он дочитал вступление к первой главе:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

И вдруг из других шалашей раздались требовательные, обидчивые, перебивающие друг друга голоса:

— Товарищ политрук, а когда же вы к нам зайдете?

Чтец запахнул шарф на шею, поправил ушанку и сказал с добродушной усмешкой:

— Вот... И посидеть не дадут! Слышу!..

На пороге его перехватывает командир взвода Оленев. Видно, Оленев специально ждал его. Молодое лицо младшего лейтенанта выражает явное смущение. Трудно представить себе смущенным Оленева — франтоватого даже в прожженной шинели, отчаянного смельчака, весело, как будто играючи, ходящего изо дня в день в самые рискованные разведки. Но он почему-то не решался даже посмотреть в глаза политруку и вертел в руках ремешок от пистолета.

— Товарищ политрук, у меня к вам одно совершенно секретное дело.

Политрук останавливается, но Оленев увлекает его за собою подальше.

— Я даже не знаю, как вам о нем сказать. Конечно, вы со мной мало знакомы, но вот...— чувствуется, что он говорит о чем-то бесконечно интимном; затем, так и не произнеся ни слова больше, порывисто вынимает из кармана шинели вчетверо сложенный листок и протягивает его политруку.

Политрук внимательно смотрит на смущенного командира взвода, пробегает глазами бумагу. Довольно улыбается.

— Посветите, Оленев. И напомните: как ваше отчество?

Под лучом электрофонаря на мятую бумагу ложатся скупые карандашные строки рекомендации в большевистскую партию: «...как проверенного в боях товарища, не жалеющего жизни для дела коммунизма». Голубев повторяет написанное вслух. Привычные слова — здесь, на декабрьском морозе Карельского перешейка, — звучат торжественно, как клятва.

...Завтра бой. Спят все, кто может. Голубев сидит перед костром и при мерцающем свете пишет политдонесение комиссару части.

Уже засыпая, Голубев вспоминает Териоки, Куоккалу. Как счастливы будут эти края, когда меж снежных сосен заскользят на лыжах веселые ребята из домов отдыха, и художники, дую на окоченевшие пальцы, вдохновенно станут зарисовывать круглые озера в кайме деревьев, встающих прямо из воды; небо голубое, как фарфор; замерзшие струи водопада. Обязательно надо сказать бойцам, какую ценность представляет Куоккала с репинской дачей! Если бы иметь возможность хоть на день съездить туда!

Голубев вспоминает о начатом своем труде «Репин и Горький» и с немного грустной иронией сам же себя утешает: «Ничего, старик, будем надеяться, что сами, а не кто-нибудь за нас, кончим диссертацию. Ты ведь веришь, что выживешь?»

Трепчат, догорая, последние головешки костра.

Политрук подкладывает под голову кулак. Спит он всегда не в своем шалаше, а среди бойцов. Теплее! Да и веселей как-то..

* * *

Брезжит скудный северный рассвет.

Мы движемся гуськом на исходные позиции. Где-то впереди тонко свистнула пуля вражеского автоматчика. Сами собой смолкают разговоры. Не слышно даже шопота. Лица сосредоточены, напряжены, — только глаза на лице живут. Они стали у всех большие, суровые.

Голубев оглядывает строй и останавливается. Когда с ним поровнялся последний, несколько отставший от других боец, политрук безмолвно берет у него из рук коробку с пулеметными лентами. Боец хочет что-то сказать, но Голубев, попрежнему без звука, отсылает его движением руки вперед..

В основном голубевское подразделение находится в резерве, в наступление идет лишь один взвод пулеметы, приданный стрелковой роте, но то, что Голубев — с наступающим взводом, а не с оставшейся в резерве ротой, никого не удивляет: такой человек.

Командир роты сверяется по карте. Условленного пункта мы достигли. Именно здесь мы должны получить связь от батальона, действующего правее. Однако связи нет. В чем дело, что его задержало? Или, может быть, в лес просочились фашисты?

Голубев вынимает пистолет из кобуры и сует за пазуху: так скорее доставать.

— Ну, кто со мной в разведку?

Несколько человек делают шаг к политруку.

Командир роты еще раз смотрит на часы. Определенно: связь опаздывает.

Он смотрит на приготовления политрука к разведке.

— Когда вы начнете беречь себя, товарищ политрук пульроты?

Скупая улыбка трогает лица бойцов; сколько раз они слышали, что любимому политруку говорят эти слова!

А Голубев достает откуда-то плитку шоколада «Колибри» и тщательно делит ее на равные кусочки:

— Берите, товарищи. Это одна бывшая ученица посылку прислала... — и жмет руку командиру роты.

Они понимают друг друга без слов. Командир роты не обижен, что Голубев не ответил на его вопрос. Наоборот, он говорит совсем иное:

— Ну, есть, мы пошли.

* * *

...Лес, лес.

Впереди, метрах в пятнадцати, разрывается снаряд. Летит в лицо пороша, снег вблизи чернеет, осыпанный трухой с деревьев.

Голубев указывает рукой дальше. Ползком перебираемся от ствола к стволу.

Стоп! Вот, отделенные от нас узенькой полянкой, движутся за соснами какие-то люди в белых халатах. Наши? Финны? Что нам делать? Халаты скрывают их обмундирование, а движутся они безмолвно — по речи не угадаешь.

К Голубеву ужом пробирается помкомвзвода. Он что-то шепчет политруку на ухо. Вот они уже вдвоем ползут в сторону людей в халатах. Как они ни хоронятся, а мы их все-таки видим. Но, значит, и те их могут заметить!..

Вот Голубев и помкомвзвода ближе к ним, ближе... Вот уже осталось метров десять, не больше. Мы давно взяли на мушку людей в халатах, стынут пальцы на спусковых крючках.

Но вдруг один из людей в маскхалате, поскользнувшись, выругался. Да как! Не по-фински — по-нашему!

Голубев стремительно выскакивает из-за сосны: — Третья рота, черти! Заблудились?

Свои!

...Короткая радостная встреча, и мы постепенно вытягиваемся на опушку. Это рубеж, на котором надо закрепиться.

Зимний лес тих. Ни ветерка, ни свиста птицы. Верхушки сосен выделяются на темнеющем небе точно нарисованные. Вдруг свистит один коростель, откуда-то с другого края — другой. Откуда эти птицы?

Впрочем, нет: это перекликаются между собой вражеские автоматчики. Это они, а не птицы, засели на соснах...

Мы зарываемся в снег. Покашливающий Голубев, лежа, расстилает рядом с собой плащ-палатку и затем перекачивается на нее. Предусмотрительно вывалянная им в снегу, плащ-палатка совершенно незаметна. Увидев поблизости меня, он спрашивает одними глазами: здорово придумано?

Нетерпеливо ползу вперед. Время тянется медленно-медленно. Боец, лежащий рядом, вскидывает винтовку и в то же мгновение стреляет.

Трещат верхние ветви ели метрах в тридцати от нас, затем хрустят нижние, и вот в сугроб валится подстреленный финн.

Сзади еще раз свистнул коростель, вслед за тем — выстрел, и сразу же стон и голос:

— Передайте по цепи: санинструктора! Политрук Голубев ранен!

Голубев?!

Голоса уже дальше: «Передайте по цепи...» Но неожиданно эта эстафета прекращается: второй, еще не обнаруженный нами снайпер принялся стрелять на голоса. Вот гад!

Голубев смотрит на меня усталыми глазами, пытается улыбнуться.

— Меня только чуть-чуть назад бы оттянуть, дальше я сам пойду.

Он ранен в ногу.

Я тащу его на плащ-палатке; ему, наверно, нестерпимо больно. Но он шутит:

— Я ж говорил: как в гамаке — на этой штуке!

Наши бойцы, возбужденные ранением политрука, внезапно поднимаются... Куда?! Сразу же рубеж опушки прошивает беспощадная белофинская очередь. Чорт бы побрал эту нервозность: она сорвет всю операцию! ☹

Голубев встает, опираясь на колено и мой локоть, лицо его перекашивается, он командует оглушительно и властно:

— Ложись! Ложитесь, я вам приказываю!

И в изнеможении валится наземь.

Должно быть, все-таки раздроблена кость. Эх, Голубев, Голубев!..

Мы переваливаем через бугорок. Здесь немного потише. Только неприятельская пушчонка пытается обстрелять нас, но снаряды ложатся левее, там, где никого нет.

Несколько мгновений отдыхаем. Голубев говорит, кивая в сторону наших бойцов:

— Видели героев? Им бы еще выучки немного...

По щекам его катится крупный пот.

— Сорок процентов в партию подали. Парторг даже специальный мешочек для заявлений сшил. На груди носит. «Если убьют, — снимите», — распорядился.

Он волнуется. Я предлагаю ему:

— Двинемся снова?

Но он возражает;

— Знаете, лучше оставьте меня. Сам поползу, честное слово!

Я видел потом, как его сажали в санитарную двуколку. Ему дали самое лучшее — лежачее — место, но он уложил туда бойца, сам же ехал сидя, держа обеими руками раненую ногу...

...Впоследствии я встретился с Василием Захаровичем уже в Ленинграде. Это было через несколько дней после ранения.

— Здравствуйте, здравствуйте! — он попытался приподняться мне навстречу, но свалился обратно на подушки. — Как я себя чувствую? Замечательно! Вот прошу, чтобы сына на мое место пока взяли.

Сын сидел рядом с отцом, одетый в военную форму, с петлицами одного из военных училищ. Он смотрел па отца восхищенно и чуть завистливо.

— Думаю, возьмут. Он у меня тоже большевик. Хотя пока непартийный, а большевик.

Нога Василия Захаровича лежит в лубке, неуклюжая, толстая, беспомощная. Но, несмотря на то что перебитая кость причиняет мучительные, не отпускающие ни на минуту боли, у постели раненого на тумбочке лежал аккуратно составленный список книг, которые он просил достать, чтобы закончить диссертацию: он непременно хотел использовать время вынужденного безделья.

— Кстати, — обращается он ко мне, — помните того помкомвзвода, с которым мы в разведку шли?

Я его на полковом медпункте встретил: его тоже ранили. И он мне там говорит: «Товарищ политрук, не хочу я вас, раненого, тревожить, но все-таки, если можете, напишите мне рекомендацию. Мы теперь с вами вроде побратимы: одной кровью за общее дело окроплены». Замечательно сказал, а?

Сын вопросительно смотрит на Василия Захаровича: он, должно быть, не знает слова «побратимы».

— Что это такое, Борис? — отвечает Голубев на его немой вопрос. — Это — чудесное слово; это мы с тобой, это партия наша, это весь наш народ — побратимы. Понимаешь?

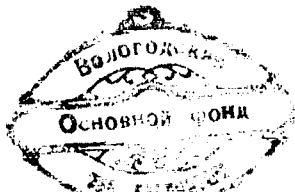
Сестра стоит в дверях, дожидаясь, пока раненый договорит.

— Пора, товарищи. Посещение окончено.

Голубев с досадой смотрит на свою ногу в лубке и кричит мне вдогонку:

— Будете в части, передайте: я через недельку вернусь. И сражайтесь счастливо!

Я выхожу на затемненную декабрьскую ленинградскую улицу. Великий город живет напряженно, но бодро и спокойно. Есть, сражаться счастливо, товарищ Голубев!



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Двенадцать	3
Победа	8
Интервью	17
Профилактика	24
Побратимы	34

П. 53 г.

56

Цена 20 коп.

72

00